

Диво дивное

Мы говорим, что мы умны; старики спорят: «Нет, мы умней вас были». А сказка рассказывает, что когда еще наши прадеды не учились, наши деды не родились — в некотором царстве, в некотором государстве жил-был охотник Ермолай. И пошел раз охотник Ермолай под вечер на заводи, уток пострелять. Хорошо. Засел он в камыше, дожидается, когда утки на чистую воду ночевать прилетят. Ждет-пождет; уж смерклось. Вдруг, зазвенели вверху утиные крылышки и села одна утица как раз посередине плеса, у которого Ермолай сидел, а кругом плеса тоже камыш со всех сторон. Ермолай примечает: вот-вот совсем стемнеет, вовсе ничего не будет видно; выцелил он эту утицу — трах!.. А тут же из камыша с другой стороны плеса — бац-бац — по той же утке еще двое выпалили!

Поднимается Ермолай из камыша, и те, один и другой, в разных сторонах поднялись... Ермолай разделся, полез за уткой — потому что, хоть и была с ним собака-Жучка, только она в воду лазить не любила, — глядь: и те двое тоже за уткой бредут. Ермолай утку — за голову, а те — за крылья. Ермолай им: «Сделайте, — говорит, — милость, не беспокойтесь, утка моя!» А те спорят: «Нет, — каждый говорит, — это я ее убил!..» Между прочим, вода холодная: долгого спора выдержать никак невозможно. И порешили они трое на том, чтобы с этой уткой поступить по-охотничьи: тому ее отдать, с кем чуднее диво приключилось.

Вот разложили они на берегу костерок, и начал старший из чужих охотников первым рассказывать:

«Было у меня, господа товарищи, три сына, и ходил я с ними на охоту. Раз охотились мы целый день, убили трех уток и, как пришел вечер, задумали в лесу ужинать: развели огонь, ощипали-выпотрошили уток, сварили их и только было за них приняться собрались, вдруг, из лесу старичок выходит: «Хлеб-соль, люди добрые!» «Милости просим». Старичок подсел, трех уток съел да старшим моим сыном закусил... Стало у меня только двое сыновей. Утром пошел я с ними на охоту; убили мы трех уток и ввечеру только было собрались ими поужинать — опять старичок идет: «Хлеб-соль, господа!» «Милости просим». Старичок подсел, трех уток съел да средним моим сыном закусил... Остался у меня только один сын. Переночевали мы, а утром опять на охоту; убили трех уток, ввечеру сварили их и только было ужинать собрались, как тот же самый старичок идет: «Хлеб-соль, молодцы!» «Милости просим». Старичок присел, трех уток съел да младшим моим сыном закусил...

Остался я один как перст. Пошел домой. Прихожу в избу, а сыновья мои, все трое, на полатах лежат живы-здоровы..."

«Ну, твое диво еще не Бог-весть, какое, — говорит другой охотник, — мое куда почуднее. Женили меня родители на одной девице, собой очень прекрасной. Только, по времени, стал я замечать за женой: чуть я засыпать стану, она — прыг с кровати, и нет ее долго-долго... Дальше-больше. Вижу: она в горшочках зелья разные варит, что-то над ними бормочет... И притом вдруг оказался у нее хвост. Эге, — думаю, — вот оно что!..

Раз ночью, как ушла она с кровати, я потихоньку за ней. Смотрю: она у печки села на помело, хлебнула чего-то из горшочка и только что взвилась в трубу, а я ее цап за ногу... „А, — говорю, — так ты ведьма!..“ Она ничего, опустилась вниз из трубы, а как стала на землю, кинулась вдруг в угол, ухватила оттуда какую-то ветку: „Был, — говорит, — ты мужиком, стань черным псом!“ Да меня веткой — хлысь... И вдруг обернулся я пребольшим черным псом, и выгнала меня моя баба на двор, чтоб я дом стерег. Сижусь утром на завалинке и думаю: „Авось жена опомнится, сделает меня по-старому человеком“. Куда тебе! Только и милости от бабы, что невзначай отворит окно да ошпарит тебя кипятком, а кормить, совсем не кормит, хоть с голоду околевай. Нечего делать: вижу, что бабе меня совсем извести хочется — а у меня хоть вид собачий, да ум-то человеческий — и убежал я из своего дома, к одному барину прибилсь. Здесь мне житье стало, что лучше и не придумать: как сыр в масле я катался за свой человеческий разум. Бывало, начнет меня барин гостям показывать: сколь я все хорошо понимаю — дивятся все, всякий мне самый лакомый кусок в зубы сует. А все-таки соскучился я по дому: „Дай, — думаю, — жену проведу“. И улизнул от барина. Прибежал домой: „Ох, ты, постылый! — говорит жена. — Не пропал еще!.. Был ты черным псом, так будь же серым воробьем!“ Да сама меня прутом вдоль спины — хлысь!.. Обернулся я серым воробьем и улетел в поле. Пришла зима холодная, трудно кормиться: есть хочется, а корму нет и достать негде. Вдруг вижу я: стоит при дороге птичья западня. „Дай, — думаю, — залезу в нее: все, может быть, у людей в избе лучше будет“. Поймали меня ребяташки, принесли в избу и показывают отцу: „Ишь, тятя, какого мы воробья поймали“. А отец-то их был хороший знахарь; посмотрел на меня и говорит: „Да, это воробей занятный!“ Посадил он меня на ладонь, дунул-плюнул — и обернулся я по-прежнему человеком... Дает мне знахарь веточку: „Ступай, — говорит, — несчастный, к тому, кто тебя так заморозил, и ударь его этой веткой: увидишь, что будет“. Я сейчас живо домой; вскочил в избу да как вытяну свою ведьму-жену веткой — вмиг обернулась она кобылицей... Наэтой кобылице я и сейчас землюпащу. Пойдемте со мной — сами ее увидите». Усмехнулся охотник Ермолай. «Было,

— говорит, — с тобой, братец, дивонемалое; только, против моей истории твоя тоже ничего не стоит.

Служил я в егерях у одного барина. И так я ему угодил, что, когда собрался я от него уходить, подарил он мне сверх жалованья, в награду, гуся. Вот это так гусь был! Скажешь ему: „Гусь, поди сюда!“ — он подойдет. „Ложись, гусь, на сковороду!“ Он ляжет. Сейчас его зажаришь, съешь в свое удовольствие, а когда кости от него останутся — кинь их на землю и скажи: „Встань, гусь, встрепенись и ступай на двор!“ Встанет гусь, встрепенется и пойдет по двору переваливаясь, будто и в печи не бывал... Вот хорошо! Иду я с гусем домой, и остановился переночевать на постоялом дворе. Сейчас распорядился: зажарил гуся, съел его и опять оживил. Кто был на постоялом дворе — все кругом стоят да дивуются, а пуще всех хозяин: так и видно, как у него глаза на гуся разгорелись. Ну да я-то не боюсь: знаю, что мой гусь себя в обиду не даст... Посадил я гуся в хозяйский чулан и лег спать. Только среди ночи просыпаюсь, слышу: шум в чулане, возня. Пошел я посмотреть: вот-так ловко! Все так и сделалось, как я думал: хозяин не стерпел, забрался ночью в чулан, чтобы моего гуся уворовать, да и прилип к гусю — не может от него оторваться. Хозяйина пришла выручать его жена; ухватила мужа за плечи, чтоб оторвать да так и прилипла к нему. А к хозяйкину сарафану их сын прилип, а к сыновей рубахе — дочь... Все стоят, сопят, кряхтят, рвутся, никак оторваться не могут; а гусь сидит себе, голову под крыло подвернувши, и не шелохнется — точно каменный. Такой уж чудной гусь был! Ну я оставил их всех до утра в чулане прохладиться; утром подхватил гуся под мышку и пошел своей дорогой, а они все за мной тянутся. Идем мы, идем; хозяин с хозяйкой, сын и дочь всех прохожих молят: „Оторвите нас от этого проклятого гуся, люди добрые!“ Кто ни тронет их — и прилипнет... Сотский увидал: „Это что за безобразие! — кричит. — В одних рубашках среди бела дня идете!“ Ухватил дочь за рубаху и прилип. Староста кричит: „Эй, сотский! Не стыдно тебе, степенному мужику, за девкой по улице бегать!“ Хвать сотского за поддевку — и готов, попался... А что баб, ребятишек, девчонок поналипло — и не сочтешь. Бегут сзади, кривляются, вопят... Оглянулся я назад — так и закип от смеху: потеха да и только! „Нет, — думаю, — этого так оставить нельзя!“ И вспомнилось мне тут, что нашего царя дочь в то время больна была; такая ее была болезнь, что все ее тоска мучила: никому слова не скажет, на всех насупившись, мымрой глядит... „Э, — думаю, — спыток не убыток!.. Покажу царевне мой хоровод: уж потешнее ничего не придумаешь“. Повел. Приходим мы в столицу... И давай я мой хоровод водить перед царевниными окнами... Глядь: царевна в окно смотрит. Посмотрела, увидела и не выдержала — давай смеяться: „Батюшка, — кричит, — посмотри, что за потеха!“ А сама так со

смеху за бока и хватается... Позвали меня во дворец, и говорит мне царь: „Спасибо тебе, молодец, что ты хорошо придумал. Наградой тебя не обижу. Хочешь: полцарства моего тебе отдам и мою дочь единую в замужество?“ А я царю: „Ваше царское величество! Не велите казнить, велите слово вымолвить. Я человек простой и притом на охоте с ружьем пропадаю. Это к царскому делу не подходит. Коли милость ваша будет, — говорю, — велите мне за этого гуся — если себе его для царевниной потехи оставите — дать такое ружье, чтоб из него никогда промаху не было...“ Ну мне сейчас и приказал царь выдать вот это самое ружье, из которого я спорную утку стрелял. Чья ж эта утка, братцы?»

«Да, — говорят оба чужие охотника, — это здорово; надо признаться, что рассказываешь ты по-охотнички! Твоя утка».

Хватать-похватать, а утки-то и нет: ее давно Ермолаева Жучка утащила в камыш и слопала. Сидит да облизывается...